



А. А. ИЗМАЙЛОВ

Закат ересиарха († В. В. Розанов)

Пришел внезапный великий ветер от пустыни, как во дни Иова, и снес, как срезал, храмину русской литературы. И среди развалин и гробов высится гроб Розанова, точно его не могут убрать. Об этой смерти, больше чем о всех других, говорят здесь, на берегах Невы, на развалинах былых русских Афин. Мертвый, он занимает собою ничуть не меньше, чем живой, и в гробу он все тот же пререкаемый, прекословный, спорный — «руце его на всех, и руце всех на него».

Он уже не суетится среди нашей литературной сутолоки, в традиционном пиджачке, с «неакадемическим», непоэтическим лицом, сам с головой ушедший в ничтожные, «слишком человеческие» заботы, но той «величественной позы», какую создает торжественное отдаление смерти, у него нет и сейчас, когда он перестал быть человеком и стал *явлением*.

Напротив, чудится, что еще целый десяток лет он напомним шумом и стуком полемики, что над его могилой суждено еще прозвучать восторгам и хулам, каких он не слышал при жизни, что и теперь, с устранением личных пристрастий, этот гений для одних останется писателем-обывателем для других.

И камни еще летят по его следу. Это всегда заставляет настояжиться, — камнями иногда побивали пророков.

Однажды в «Русском труде» С. Ф. Шарапов первый истерически выкрикнул, что в России сейчас здравствуют три гения: Толстой, Вл. Соловьев и Розанов¹. Мир до того скептик и завистник, что даже слыша с небес «Сей есть сын мой возлюбленный!» — говорит: «Гром бысть!» Принято было хохотать надо

всем, что ни скажет Шарапов, как над гоголевским Антоном Прокофьевичем², которому говорили: «На что вы дразните собаку?» — когда он не имел о собаках и помысла.

На патетическое восклицание Шарапова печатно улыбнулся один-другой фельетонист. «Розанов — гений», и как кстати рядом с этим гением Соловьев, тот самый, что навеки приклеил к нему позорный ярлык Иудушки Головлева!

Может быть, впервые над Розановым серьезно задумались тогда, когда гораздо более авторитетный Мережковский сравнил его с Ницше, и как сравнил!

— «Мыслитель, в иных прозрениях столь же гениальный, как Ницше, и, может быть, даже больше, чем Ницше, самородный, первозданный в своей антихристианской сущности» («Толстой и Достоевский»)³.

«Ницше!» «Гениальность!» И это о Розанове? Гений, пишущий в дышащем на ладан «Рус<ском> обозрении», в великолепных «Моск<овских> ведомостях» и «Торгово-промышл<енной> газете»?⁴ О чем пишущий, — о таких высокоинтересных и современных материях, как славянофильство, Леонтьев, христианство в истории и брачный процесс? Разве бракоразводными делами интересуется еще кто-нибудь, кроме служащих в консисториях? Разве в «Торг<ово>-пром<ышленной> газете» пишут еще о чем-нибудь, кроме цен на жиры, нефть, хлопок и металл? И этот человек не может писать короче, чем на полтора листа! И наконец, эти кавычки, скобки, подчеркивания. А какой его формуляр?

О Розанове справлялись, но он был решительно чужд всем кружкам, ведом разве в одной квартире Страхова. Что узнавали о нем, было отнюдь не занимательно. В формуляре не было ни интересности, ни неожиданности, ни страдания. Одиночка. Однодум. Был учителем «истории с географией» — почти смешно! — где-то в Брянске. Теперь на службе в Госуд<арственном> Контроле у елейно-лампадного Тертая Филиппова. Теперь на жалованьи у Суворина. Вот, от альфы до омеги, исключаящее гениальность.

* * *

Но сталкивались с случайными людьми, со студентом, учителем, — и вдруг чувствовали тепло, иногда горячность, порой огонь около этого имени. Были люди, которые зачитывались этим писателем, пишущим в «Торг<ово>-промышленной», его любили, его строк искали, ему писали, как никому.

— Но «Торг<ово>-пром<ышленная>»!

— Да, это только несуразное место, потому что он сам — несуразный человек, идущий в первую открывшуюся перед ним дверь (сам потом написал это о себе), но все, что он пишет, — захватывающе интересно, будет ли это о Христе и Достоевском, католицизме или евреях, революции или половом влечении. Ко всему он подходит удивительно своеобразно. У него как-то так устроен глаз, что он видит вещи со стороны, всеми пренебреженной, этот человек пишет мыслью. В «Торг<ово>-пром<ышленной>» он пишет обо всем, кроме торговли и промышленности, но, думается, если бы он писал о хлопке и нефти, он попутно бы бросил кучу философских и художественных замечаний. И когда вы «втянетесь» в Розанова, вам понравится и его стиль, узнаваемый «с трех строк», и эти его кавычки, как родинки на любимом лице...

Слушали, улыбались, но, уходя, уносили зерно интереса к «не совсем обыкновенному» писателю, идущему во все открытые двери. И мало-помалу взламывался ледок. И кто натыкался сразу на «Легенду о Великом Инквизиторе», сразу же мог понять, что имеет дело с глубоким умом.

Мало, однако, совершенно открыто признать, что настоящая известность пришла к Розанову, вскормленному «Русского вестника» и «Московских ведомостей», совершенно так же, как она пришла к Чехову, питомцу «Осколков» и «Пб. газеты», — только тогда, когда он появился, как постоянный фельетонист, в «Новом времени». Только здесь, — и, м<ожет> б<ыть>, не без подсказа Суворина, — Розанов нашел форму, какой ему не доставало, — форму сжатого фельетона, маленькой статьи, освобожденной от громоздкой артиллерии мысли первых работ.

И только тут он нашел простор *своим* мыслям, таким далеким от умонастроений всяких редакций и редакторов, таким сектантским и еретическим. Никто из этих редакторов не был с ним в паре, не шел в ногу. Одним из величайших и курьезных русских недоразумений было то, что его, бунтаря и ересиарха, революционера с бомбой в кармане против всех святых и твердынь, каприз российской случайности занес в богоугоднейший «Русский вестник», даже не в воинствующего Каткова, а его выдохшихся и анемичных эпигонов!

Суворин тоже ни в каком случае не был ему парой. Даже простыми попутчиками они были с великой натяжкой, в самом широком смысле, — в последней, пожалуй, точке пути. Оба были *очень* русские, путанные, впечатлительно-непостоянные, с «истерикой» во вкусе Рогожина, влюбленные в русское и ненавидящие русское, оба заглядывающие куда-то много дальше за фор-

мы нынешней политики через головы Горемыкиных. В сущности, и политика, и люди были обоим глубоко неинтересны, но Суворину нужны, как практику, «хозяину» и редактору, — Розанову же решительно, неприлично-неинтересны, так-таки до полного и характерного для него «наплевать».

«Хозяин» нередко возвращал работнику его труд, «ворочая статью», но было договорено, что это нисколько не ранило самолюбия, не било по карману. Здесь Розанов нашел то, чего еще никто не дал ему нигде: волю писать о чем ему нравится. В нововременском «парламенте мнений»⁵ могло быть заслушано суждение человека, всегда изумительно оригинального и решительно непохожего на других, — в этом смысле Суворин был римлянин, тащивший в свой пантеон чужих богов, ничуть не поклоняемых.

И сам он нравился Розанову каким-то подобием себе, начиная тем, что и тот начал тоже с учительства, с географии и истории в каком-то Боброве, продолжая этой «жизнью по настроению», даже до идейного разгильдяйства... «Мои собственные недостатки, когда я их встречаю в других, нисколько не противны» («Уединенное»). И как Розанов написал о себе: «Я пишу не на гербовой бумаге» (всегда могу взять назад и всегда можете разорвать), — так точно сторонником неколеблящихся слов и «гербовой бумаги» в литературе — никогда не был и творец «Нов<ого> вр<емени>».

В этом они были и почти пара, и Розанов признавался, что редко еще переживал такое большое удовольствие, как его беседы ночью, уже в третьем часу при спуске газеты в машину, когда они оба, — один, просмотревший фельетон, другой, отбывший свои редакторские обязанности, в халате, весело-нервный и необычайно возбужденный — задерживались иногда на целый час где-то на лестнице, на пороге, не успевая наговориться...

* * *

Фельетонист в философах — чепуха. Философ в фельетонистах — один из величайших капризов русского бытия, — вовсе, однако, недурных, если у этого философа не слог Канта. Такое сочетание являл Розанов.

К этому времени он отточил слово до своеобразнейшего совершенства и большой оригинальности: его узнаешь по трем строкам, как Достоевского или Толстого, как Дорошевича или Бальмонта. После нескольких опытов его в лирике, после одной «Голубой любви» в «Уединенном» невозможно спорить, что в

нем таился настоящий художник, только по свойствам дара своего он и не умел, и не хотел на одну минуту явиться в маске, мог только прямо писать *Я*, и был настолько чужд всякого ухищрения формы, что его немислимо представить пишущим стихи. Маленькие статейки в газете, выливавшиеся у него из-под пера под случайным настроением, округлялись в законченные стихотворения в прозе.

И здесь уже Розанова читали. Читали и те, кого он злил каждой своей строкой, и те, кого он каждой строкой радовал. Было величайшим недоразумением принимать его как политика. Здесь его отличало самое грубое непонимание вещей, незнание азбуки, тяжкая неспособность понять явление в жизненно-практическом ракурсе, почти тупость, как сказал бы о себе он сам со свойственным ему выбором последних слов, обидных, как плевков. Не сам ли он рассказал о себе однажды, как ответственный для России день объявления манифеста 17 октября он «пролежал в пару» в банях на Знаменской, «отложив все попечения», радостный, что ни сегодня, ни завтра не придется писать ⁶.

Там, где только начиналось касание человека к политике и общественности, Розанов становился иногда истинным богом бестактности, и хульные глаголы, от которых могла зауглиться страница, падали на бумагу. Декабристы — это «буффонада», Некрасов — погубитель тысяч юношей, Салтыков, этот «ругающийся вице-губернатор — отвратительное явление», Михайловский — Судейкин, Гоголь — «архиерей мертвечины», «Толстой прожил, собственно, глубоко пошлую жизнь», Бокль — Добчинский, Дарвину — даже честь происходить от умной обезьяны, у Спенсера — лошадиная голова, и — «что с таким дураком делать, как не выдрать его за бакенбарды!» А надо всем этим — «частная жизнь выше всего» и «моя кухонная книжка стоит “Писем Тургенева к Виардо”!»

* * *

Он кощунствовал, он глумился! Его почитателям иногда оставалось хвататься за голову при каждом новом и новом его идейном ляпсусе. А он с каждым новым политическим фельетоном (тянуло, как преступника на место преступления!), с каждой новой хулой на чудотворные иконы интеллигенции, на Герцена, на Некрасова, — все глуше и глуше лез в трясину, словно бы ему нравился этот лай из всех подворотен, какой поднимался после каждой его вылазки. Вот кто испытал истинное наслаждение матадора!

Или при своем презрении к «текущей литературе» он просто не читал этого? Вполне возможно. Во второй половине жизни, обожая старые книги, он ненавидел Гуттенберга за новые. С удовольствием расписывался он в том, что никогда не читал Щедрина, не прочел «Растеряевой улицы», из Шопенгауэра «прочел только первую половину первой страницы» «Мира как воля». Когда я, смеясь, сказал ему, что он притворяется, он написал в «Опавших листьях»: «Измайлов не верит, будто я не читал Щедрина», и мотивированно подтвердил факт. Не читал, потому что со Страховым, Рцы, Флоренским и Рачинским, зная «суть» его, считал бы «невежливостью в отношении ума своего читать Щедрина».

Глубокое недоразумение, что ему казалось нужным откликаться на политику в то политическое время, что никто из редакторов не сумел ему сказать: «Брось не свое дело», что критика прежде всего и *только* считалась с ним, как с политиком. Он скопил томик политических статей, и это — самое незначительное и последнее в его наследстве, как стихи у Шопенгауэра, как толкование на Апокалипсис у Ньютона.

И насколько же проникновеннее и умнее присяжных критиков и фельетонистов оказывался простой зауряд-читатель, давно почувствовавший центр тяжести писаний Розанова совсем в другом! Как хорошо понимала его какая-нибудь простая женщина-мать, задетая им и славшая ему горячие от горячего сердца строки хотя бы за то, что первый на столько веков он догадался спросить у церкви, почему среди тысяч своих молитв и воздыханий она ни разу не поклонилась и не вздохнула на беременную.

* * *

Но отшвырните политику Розанова, как она того стоит, и весь этот последний период выявлений его предстанет сплошным пламенением его таланта, всем предшествующим опытом взвинченного и раскаленного до высокой и, конечно, болезненной точки. «Болею склерозом головного мозга, — прочитал я однажды жуткие слова в одном из его прошений, — содержащего в себе непрерывную угрозу нервного удара и смерти, по приговору врачей Карпинского, Шернвалья и Жихарева»⁷. Так вот где догадка и его метаний, и его прозрений, и всего в нем странного, и этого умственного перенасыщения! — подумал я тогда.

Подобно Ницше, и с больною же самомнительностью Ницше (в «Ессе homo») Розанов сам удивлялся в себе этому неустанному

кипению мыслей, вихрю дум, углублений, подмечаний, подслушиваний у природы, — этому смерчу, головокружительно несшему его, помимо веры, куда-то вперед. Не было возможности всего схватить, вместить, передумать, записать. Вечное истечение, бездонность, ненасытность!

Метель мела в человеке, в котором было нечто совершенно явное от пророка в ветхозаветном понимании или от... сумасшедшего дома. Если бы Розанов не умер раньше срока, убитый жизнью, аннулированный ею за год до финала, он, вне всякого сомнения, сошел бы с ума. Некоторые медицинские авторитеты считали его уже ненормальным.

Писательская производительность Розанова последнего десятилетия — исключительна. В сущности, все эти годы, за одним-единственным исключением «Легенды о Великом Инквизиторе», рождено и собрано им все лучшее. На пространстве нескольких годов он выбросил то, что обычно писатель производит за целую жизнь. И он хотел бы и мог писать еще и скучал, что ему *негде* писать, что Суворин печатает *мало*, и на его столе в час смерти действительно оказалось столько готового («Из восточных мотивов»⁸ — о Египте), сколько редко находится у писателя.

В эти годы он именно был «в зените», в той точке расцвета, когда, по его собственному пониманию, и надо сниматься человеку на единственной *настоящей* фотографии⁹. За несколько лет до смерти, в период работы в «Русском слове», этот некрасивый в общепринятом смысле человек (каким он много раз признавал себя в книгах) похорошел до возможной степени. Бывают лица, становящиеся положительно лучше с приближением старости. Так, несомненно, было с ним. «Мы выслуживаем себе к концу жизни лицо, как солдаты Георгия», написал он в одной из самых ранних своих книг, и он так выслужил себе лицо весь век упрямо мыслившего профессора (почти двойник в известном и очень талантливом историке С. Ф. Платонове¹⁰).

С годами исчезла застенчивость, неуклюжесть (его слово), во взгляде сквозь туго вытянутые золотые очки, острым и почти сверлящем, чувствовалось расчленяющее, испытующее внимание. И — в то же время бездна чего-то неисправимо студенческого, от молодости — в торопливости, нетерпеливости, в нервном зажигании и подхватывании папирос, в манере поджимать под себя ногу на схваченном и близко к собеседнику придвинутом стуле.

Портрет такого Розанова в самом деле неизмеримо лучше и достойнее его, чем те молодые, где, худой и бледный, с испуганными бровями и едва отраженной печатающим солнцем расти-

тельностью, он больше кажется типичным чиновником консис-
тории, «руки по швам», чем писателем, умевшим властвовать,
смущать совесть, проклинать и благословлять.

* * *

Розанов — явление настолько сложное, настолько не моно-
литное, настолько всю жизнь «бродившее», что нет решительно
никакой возможности охватить его в беглом фельетоне. Если у
Ницше тысячи противоречий, у Розанова их — тьмы. Его рука
иногда вечером писала противоположное тому, что написала ут-
ром. Он поддерживал с упрямством фанатика бессмысленный
навет на еврейство, и он слал в магазин «Н<ового> вр<емени>»
приказ сжечь все эти четыре книжки. Глубочайшие и сверкаю-
щие, как алмаз, мысли иногда валяются у него среди битого
стекла.

Можно прочесть целый ряд лекций по каждой из тем, глубоко
его волновавших, — о поле, о месте христианства в истории, о
Достоевском или Леонтьеве, о православии и русской семье, о
религии и культуре, о русском сектантстве, тайнозрительстве ев-
рейства или египетских откровениях. И можно собрать и читать
два часа об его промахах, и ошибках, хулах и почти клеветах.

Можно представить его Патроклом и — при желании — «пре-
зрительным Терситом», «осколком гения», который мог бы «на-
полнить багровыми клубами дыма мир», и Макаром Девушки-
ным из «Бедных людей», вытряхивающим из экономии окурки;
ересиархом, посягающим на церковь с неистовством врат адо-
вых, и смиренным кающимся, бьющим себя в наболевшие пер-
си в тоске отчаяния: «Запутался мой ум, совершенно запутался!
Всю жизнь посвятить на разрушение того, что *одно* в мире лю-
бил, — была ли у кого печальнее судьба!» — надменным мысли-
телем, совершенно в духе Ницше, открыто возвещающим свою
силу, свою славу — «Мне многое пришло на ум, чего раньше
никому не приходило, в том числе и Ницше», и — «Каждая моя
строка есть священное писание!» — и бедным, заблудившимся
умом, уже с напоминанием ницшевского: «Mutter, ich bin
dumm» * — «Вот чего я совершенно и окончательно не знаю, —
что-нибудь я или ничто!»

А к этому, отпечатлевшемуся в книгах образу, дополнитель-
но еще образ Розанова личности — человек, которого мы знали,

* Мама, я глупец (нем.).

который, спеша высказаться, говорил с вами около своей библиотеки, ехал с вами на извозчике, всматривался в загулявшего Распутина¹¹, ворчал на гоголевских торжествах¹², пододвигал стакан с чаем за столом своей столовой. Вся сложность его выступала здесь, в живом общении, здесь он играл всеми цветами самородка, и, конечно, об *этом* Розанове по его кличам, по его биографиям будет представление только такое, как о драгоценном камне по минералогическому атласу. «Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти». Попробуйте воссоздать эту амальгаму!

* * *

Страшно умирал Розанов, во многом повторяя Гоголя, с его метаниями, с его судорожными хватаньями за религию, с его галлюцинациями величайших, апокалиптических откровений («Действительно, действительно времена Апокалипсиса. Они пришли, они — вот! Господи!.. Но мне страшно досказывать вам в частном письме...» — в одном из последних предсмертных ко мне писем), с его даже сожжением своего труда, только не в рукописях, а в печати («Прошу — с внезапным переходом на “ты”, — проверь, чтобы в магазинах «Нов<ого> вр<емени>» и складах были действительно уничтожены, т. е. действительно и на глазах, все четыре книги против евреев»). Как всегда, тут были вздохи и слезы, умиление и бунт, падения на колени с разбиванием до боли колен, и рядом кощунства и отречения.

Но умер он со всем примиренный, все поняв, все приняв, все простив. «Все — как надо». Благословен Воскресший из мертвых!

В последней прижизненной и им прочтенной своей статье о Розанове¹³, почти отходной (под впечатлением его страшных, психозных писем¹⁴) я вспоминал недавно перед тем происшедший случай: при перевозке цирка Гагенбека, где-то в Германии, поезд сошел с рельс. Ничто и никто не пострадал в вагонах, но — четыре берберских льва были найдены мертвыми. Испуг льва нечто столь страшное, что сердце льва его не выносит.

Таковы таинства природы, — писал я, — робкие зайцы и хрупкие лани — съежились и отделились легким испугом. «Так при мировых катаклизмах, когда маленький человек благополучно живет и спекулирует, Ницше и Розановы сходят с ума или умирают».

Он еще успел поправить меня, крикнуть из Сергиева Посада:

— «Нет, не алжирский лев перед Вами, умирающий от перепуга, а собака, без папиросы (“одно утешение!”)... Отчаяние полное, лютое отчаяние. Бегите, помогайте! Спешите, спешите, Измаил, сын Агари!..»¹⁵.

Это было его последнее письмо. И оно было так печально звучно с последней страницей «Уединенного»:

— Никакой человек не достоин похвалы. Всякий человек достоин только жалости.

